БОРИС ЛАВРЕНЕВ

СОРОК ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

БОРИС ЛАВРЕНЕВ



СОРОК ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТЬ

Рисунки В. Высоцкого

Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1983

Р2
Л13

Лавренев Б. А.

Л13 Сорок первый: Повесть / Рис. В. Высоцкого. Послесл. Е. Стариковой.—М.: Дет. лит., 1983.—64 с., ил. (Школьная библиотека).

10 коп.

Широкоизвестная повесть о гражданской войне, о русской девушке — бойце революции, ее героизме и самоотверженности.

Л $\frac{4803010102-509}{М101(03)83}$ Без объявл. Р2



Памяти
Павла Дмитриевича Жукова

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

написанная автором исключительно в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной

котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не треба. Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяренной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Все по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы — ржаветь в глухих тупиках,— не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и ведро, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка.

Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птичьи сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочья текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи, и заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги — малиновыми, апельсиновыми,

лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова сызмалолетства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож — две капли воды — на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передом, должна появиться буква «В».

Христос воскресе!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом.

Марютка — тоненькая тростиночка прнбрежная, рыжне косы заплетает веиком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткнны шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьнм огнем.

Главное в жнзнн Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склоииа н еще любнт огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где ни попадется, выводнть косо клонящимнся в падучей буквами стихи.

Это всему отряду известно. Как только приходили куда-ннбудь в город, где была газета, выпрашнвала Марютка в канцелярни лнст бумагн.

Облизывая языком сохнущие от волнеиия губы, тщательно перепнсывала стихн, над каждым ставнла заглавие, а вннзу подпнсь: *Стих Марии Басовой.*

Стнхи были разные. О революцин, о борьбе, о вождях. Между другнмн о Ленине.

Лении герой наш пролетарский,
Поставим статуй твой на площаде.
Ты низвергнул дворец тот царский
И стал иогою на труде.

Несла стихн в редакцию. В редакцин пялнли глаза на тоненькую девушку в кожушке, с кавалерийскнм карабнном, уднвленно бралн стихи, обещали прочнтать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заннтересованный секретарь редакцни вчнтывался в стихи. Плечи его подымались и начниали дрожать, рот расползался от несдерживаемого гогота. Собрались сотруднники, н секретарь, захлебываясь, чнтал стихи.

Сотрудннкн каталнсь по подоконникам: мебелн в редакцни в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лнцо секретаря немнгающнмн зрачками, собирала лнстки н говорнла нараспев:

— Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я нх из самой середкн, ровно как топором, обрубаю, а все плохо. Ну, еще потрудюсь,— ннчего ие поделаешь! И с чего это онн такне трудные, рыбья холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

— Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел, всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

— Тридцать девятый, рыбья холера. Сороковой, рыбья холера.

«Рыбья холера» — любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела.

Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой революьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую яркоцветную скорлупу курток...

Такими были ушедшие на север, в беспросветную зернь мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом, увалы между песчаными взгорбьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо — то ли ветром диким, то ли назойливым визгом крестящих воздух вдогонку вражеских пуль.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелев-

шие ноги в разбитых ботах, хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдутые ветрами такыры блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к норд-весту от колодцев Кара-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков — малиновый и много еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из вьюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнущая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, за-

ползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.

Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься, — отозвался мертвый голос из-за костра, — все равно каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачни наперло — чертова сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Кара-Кумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится, — бросил Евсюков, — было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену. Отрубил голосом:

— Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, там немаканы по берегу кочуют, поживимся и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил — замолчал. Самому не верилось, что можно дойти. Подняв голову, спросил рядом лежащий:

— А до Арала что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

— Штаны подтянуть придется. Не велики князья! Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

— На три перехода?

— Что ж на три! А до Черныш-залива — десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим — верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого — и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

— Кончь! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем,— шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос,— а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящих всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

— Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал исступленно Евсюков:

— Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер:

— Чево сопли повесили? Тюпайте кашу — дарма варил, что ли? Вояки...

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала.

Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбуднли Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудио разлепив примерзшие ресницы, схватился, дериулся по привычке окостеиелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагиувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бураиа поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я иа верблюде прокатилась. Караван киргизий идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевериулся на другой бок. Спроснл, захлебнувшись:

— Какой каравaи, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыбья холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом подиимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, ио, услыхав о караване, быстро приходнли в себя.

Подиялись двадцать два. Последиий не подиялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! — увереиио кииула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вериемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу.

— Не дально! Верстов шесть. Богаты немакаиы. Воюков на верблюдах — вó!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш!

Зашагали ииточкой между бархаиами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода.

С плоениой песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке, на плоском, что обедеииый стол, такыре темиые пятиа вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал господь! Смилостивился, — упоенно прошептал рябой молоканин Гвоздев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Господь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого господа, а на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул наизготовку. Заорал трубным голосом:

— Тохта! Если ружье есть, кладь наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.

Не успел докричать, — оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

— Ребята, забирай верблюдов! — орал Евсюков.

Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп.

Щенками тявкали обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.

— Ложись!.. Дуй их, дьяволов!.. — продолжал кричать Евсюков, валясь в выгреб бархана.

Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди.

Непохоже было, чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь.

Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев.

Степь грохотала перекатами, но понемногу затихали выстрелы от каравана.

Красноармейцы начали подкатываться перебежками.

Уже шагах в тридцати, вглядевшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска.

— Марютка! Гляди! Офицер!— повернул голову к подползшей сзади Марютке.

— Вижу.

Неспешно повела стволом. Треснул раскат.

Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыбья холера!» — как, в белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый платок.

Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.

Евсюков побежал на офицера. Сзади обогнал красноармеец, размахиваясь на ходу штыком для лучшего удара.

— Не трожь!.. Забирай живьем,— прохрипел комиссар.

Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю.

Пятеро, что были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свинцом.

Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в ноздри кольца, связывали по нескольку.

Киргизы бегали за Евсюковым, виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряженне, бормотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками.

Комиссар отмахивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в плоские носы, в обветренные острые скулы.

— Тохта, осади! Никаких возражениев!

Пожилой, седобородый, в добротном тулупе, поймал Евсюкова за пояс.

Заговорил быстро-быстро, ласково пришептывая:

— Уй-бай... Плоха делал... Киргиз верблюда жить



нада. Киргиз без верблюда помирать пошел... Твоя, бай, так не делай. Твоя деньга хотит — наша дает. Серебряна деньга, царская деньга... киренка бумаж... Скажи, сколько твоя давать, верблюда назад дай?

— Да пойми ж ты, дубовая твоя голова, что нам тоже теперь без верблюдов подыхать. Я ж не граблю, а по революционной надобности, во временное пользование. Вы, черти немаканые, пехом до своих добредете, а нам смерть.

— Уй-бай. Никарош. Отдай верблюда — бири абаз, киренки бери,— тянул свое киргиз.

Евсюков вырвался.

— Ну тя к сатане! Сказал, и кончено. Без разговору. Получай расписку, и все тут.

Он ткнул киргизу нахимиченную на лоскуте газеты расписку.

Киргиз бросил ее в песок, упал и, закрыв лицо, завыл.

Остальные стояли молча, и в косых черных глазах дрожали молчаливые капли.

Евсюков отвернулся и вспомнил о пленном офицере.

Увидел его между двумя красноармейцами. Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара.

— Кто такой есть?— спросил Евсюков.

— Гвардии поручик Говоруха-Отрок. А ты кто такой? — спросил в свою очередь офицер, выпустив клуб дыма.

И поднял голову.

И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

о некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии без верблюдов и об ощущениях спутников Колумба

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка.

И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ.

По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его, на спине, нашли потайной кармашек.

Взвился поручик на дыбы степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и растерянность.

Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался.

Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-Отрок, Вадим Николаевич, уполномочен правительством верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при Закаспийском правительстве генерала Деникина.

Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.

Сложив документы, Евсюков бережно сунул их за пазуху и спросил поручика:

— Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов и я командующий комиссар Арсентий Евсюков.

Вскинулись на Евсюкова поручичьи ультрамариновые шарики.

Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой.

— Monsieur Евсюков?.. Оч-чень рад познакомиться! К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.

Веснушки Евсюкова стали белее лица. При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик.

Комиссар вытащил наган.

— Ты, моль белая! Не дури! Или выкладай, или пулю слопаешь!

Поручик повел плечом.

— Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь — вовсе ничего не слопаешь!

Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся.

— Я тебя гопака плясать заставлю, сучье твое мясо. Ты у меня запоешь, — буркнул он.

Поручик так же улыбался одним уголком губ.

Евсюков плюнул и отошел.

— Как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? — спросил красноармеец.

Комиссар почесал ногтем облупленный нос.

— Не... не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознание снимут.

— Куда ж его еще, черта, таскать? Сами дойдем ли?

— Афицерей, что ль, вербовать начали?

Евсюков выпрямил грудь и цыкнул:

— Твое какое дело? Я беру — я и в ответе. Сказал! — Обернувшись, увидел Марютку: — Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь — семь шкур с тебя сдеру!

Марютка молча вскинула винтовку на плечо. Подошла к пленному.

— А ну-ка, поди сюды. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На триста шагов на бегу сниму. Раз промазала, в другой не надейся, рыбья холера.

Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканно поклонился.

— Польщен быть в плену у прекрасной амазонки.

— Что?.. Чего еще мелешь? — протянула Марютка,

окинув поручика уничтожающим взглядом. — Шантрапа! Небось, кроме падекатра танцевать, другого и дела не знаешь? Пустого не трепли! Топай копытами. Шагом марш!

В этот день заночевали на берегу маленького озерка.

Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода.

Спали здорово. С киргизских верблюдов поснимали кошмы и ковры, завернулись, укутались — теплынь райская.

Гвардии поручика на ночь крепко связала Марютка шерстяным верблюжьим чумбуром по рукам и ногам, завила чумбур вокруг пояса, а конец закрепила у себя на руке.

Кругом ржали. Лупастый Семянный крикнул:

— Глянь, бра, Марютка милово привораживает. Наговорным корнем!

Марютка повела глазом на ржущих.

— Брысь-те к собакам, рыбья холера! Смешки... А если убегнет?

— Дура, что ж, у него две башки? Куды бечь в пески?

— В пески не в пески, а так вернее. Спи ты, кавалер чумелый.

Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку.

Сладко спать под шерстистой кошмой, под духмяным войлоком. Пахнет от войлока степным июльским зноем, полынью, ширью зернь-песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме.

Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась Марютка, и, сухо вытянувшись на спине, поджав тонкие, красивого выреза, губы, спит гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Один часовой не спит. Сидит на краю кошмы, на коленях винтовка-неразлучница, ближе жены и зазнобушки.

Смотрит в белесую снеговую сутемь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики.

Сорок четыре верблюда теперь. Путь прям, хоть и тяжек.

Нет больше сомнения в красноармейских сердцах.

Рвет, заливается посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой, подиимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами, оттеплевает застывшее тело.

Снег, муть, зерь-пески.

Смутиая азийская страиа.

— Верблюды где?.. Верблюды, матери твоей черт!.. Аиафема... сволочь рябая! Спать?.. Спать?.. Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!

У часового голова идет кругом от страшиого удара сапогом в бок. Мутно водит глазами часовой.

Снег и муть.

Сутемь дымиая, утреняя. Зерь-пески.

Нет верблюдов.

Где паслись верблюды, следы верблюжьи и человечьи. Следы остроиосых киргизских ичигов.

Шли, иаверно, тайком всю ночь киргизы, трое, за отрядом и в сои часового угиали верблюдов.

Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гиаться? Не догонишь, ие иайдешь в песках...

— Расстрелять тебя, сукииа сына, мало!.. — сказал Евсюков часовому.

Молчит часовой, только слезы в ресницах замерзли хрусталиками.

Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усмешечкой:

— Дисциплиночка советская! Олухи царя небесиого!

— Молчи хоть ты, гиида! — яростно зыкнул Евсюков и не своим, одеревенелым шепотом бросил: — Ну, что ж стоять? Пошли, братцы!

Только одиниадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам.

Десятеро ложились вехами на черной дороге.

Утром мутиеющие в бессилье глаза раскрывались в последний раз, стыли недвижными бревнами распухшие ноги, вместо голоса рвался душный хрип.

Подходил к лежащему малиновый Евсюков, но уже

не одного цвета с курткой было комиссарское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему, как старые медные грошики.

Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти бескровную, почерневшую ранку.

Наскоро присыпали песком и шли дальше.

Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотья боты, обматывали ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы.

Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра.

Один идет прямо, спокойно.

Гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Не раз говорили красноармейцы Евсюкову:

— Товарищ комиссар! Что ж долго его таскать? Только порцию жрет задарма. Опять же одежа, обужа у него хороша, поделить можно.

Но запрещал Евсюков трогать поручика.

— В штаб доставлю или с ним вместе подохну. Он много порассказать может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет.

Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз.

А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.

Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультрамариновые шарики, выдавил хриплым лаем:

— Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам щуплый, а тянешь за двух. С чего это в тебе сила такая?

Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил:

— Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом. Могу приказать себе не страдать.

— Вона что,— протянул комиссар.

Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их с шипением змеился от ветра песок, и казалось, никогда не будет конца им.

Падали в песок, скрежеща зубами. Выли удавленно:



— Не пойду даля. Оставьте отдохнуть. Мочи нет.

Подходил Евсюков, подымал руганью, ударами.

— Иди! От революции дезертировать не могишь.

Подымались. Шли дальше. На вершину бархана выполз один. Обернувшись, показал дико ощеренный череп и провопил:

— Арал!.. братцы!..

И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющей синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрюченными пальцами.

Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно скребли пальцами палубу каравелл испанские мореходы при крике: «Земля!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а комиссар снаряжает морскую экспедицию

На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул.

Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой.

Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки.

Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки.

Старик с продавленным носом погладил сперва редкие пучки бороденки, потом грудь. Сказал, кивнув:

— Селям алекюм. Куда такой идош, тюря?

Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь.

— Красные мы. На Казалинск идем. Принмай, хозяин, покорми. За нас тебе благодарность от Совета выйдет.

Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами:

— Уй-бай... Кирасни аскер. Большак. Сентир пришел?

— Не, тюря! Не из центра мы. От Гурьева бредем.

— Гурьяв? Уй-бай, уй-бай. Кара-Кума ишел?

В киргизских щелочках заискрился страх и уважение к полинялому малиновому человеку, который в февральскую стужу прошел пешком страшные Кара-Кумы от Гурьева до Арала.

Старик похлопал в ладоши, гортанно проворковал подбежавшим женщинам.

Взял комиссара за руку:

— Иди, тюря, кибитка. Испи мала-мала. Сыпишь, палав ашай.

Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам.

— Ашай, тюря, ашай! Твоя немного высохла. Ашай — здорова будишь.

Ели жадно, быстро, давясь. Животы вздувались от жирного плова, и многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные и распаренные, уснули опять.

Не спали лишь Марютка и поручик.

Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке.

Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к «Новому времени». Во весь лист был напечатан портрет министра финансов графа Коковцева, и поперек коковцевского высокого лба и светлой бородки ложились в падучей Марюткины строки.

А вокруг пояса Марюткина по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур скрещенные за спиной кисти поручика.

Только на час развязала Марютка чумбур, чтобы дать поручику наесться плова, но только отвалился от котла, связала опять.

Красноармейцы хихикали:

— Тю, ровно пса цепная.

— Втрескалась, Марютка? Вяжи, вяжи миленького. А то, не ровен час, припрет на ковре-самолете по воздуху Марья Маревна, украдет любезного.

Марютка не удостоила ответом.

Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потугами карандаша.

Подался вперед всем корпусом и тихо спросил:

— Что пишешь?

Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди:

— Тебе какая суета?

— Может, письмо нужно написать? Ты продиктуй — я напишу.

Марютка тихонько засмеялась.

— Ишь ты, проворяга! Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу, да в бега! Не на ту напал, сокол. А помочи твоей мне не требуется. Не письмо пишу, а стих.

Ресницы поручика распахнулись веерами. Он отделился спиной от столба:

— Сти-и-их? Ты сти-ихи пишешь?

Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской.

— Ты что взбутился? А? Ты думаешь, тебе только падекатры плясать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя!

Поручик развел локтями, кисти не двигались.

— Я тебя дурой и не считаю. Только удивляюсь. Разве сейчас время для стихов?

Марютка совсем отложила карандаш. Взбросилась, рассыпав по плечу ржавую бронзу.

— Чудак — поглядеть на тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю означить, как мы, голодные, холодные, по пескам перли. Все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их вкладаю. Только народовать не хотят. Говорят — учиться надобно. А где ж ты время возьмешь на ученье? От сердца пишу, с простоты!

Поручик медленно улыбнулся:

— А ты прочла бы! Очень любопытно. Я в стихах понимаю.

— Не поймешь ты. Кровь в тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки да про бабу описать надо, а у меня все про бедный люд, про революцию, — печально проронила Марютка.

— Отчего же не понять? — ответил поручик. — Может быть, они для меня чужды содержанием, но понять человеку человека всегда можно.

Марютка нерешительно перевернула Коковцева вверх ногами. Потупилась.

— Ну, черт с тобой, прослушь! Только не смейся. Тебя, может, папенька до двадцати годов с гибернерами обучал, а я сама до всего дошла.

— Нет!.. Честное слово, не буду смеяться!

— Тогды слушь! Тут все прописано. Как мы с казаками бились, как в степу ушли.

Марютка кашлянула. Понизила голос до баса, рубила слова, свирепо вращая глазами:

Как казаки наступали,
Царской свиты палачи,
Мы встренули их пулями,
Красноармейцы молодцы,
Очень много тех казаков,
Нам пришлося отступать.
Евсюков геройским махом
Приказал сволочь прорвать.
Мы их били с пулемета,
Пропадать нам все одно,
Полегла вся наша рота,
Двадцатеро в степь ушло.

А дальше никак не лезет, хоть ты тресни, рыбья холера, не знаю, как верблюдов вставить? — оборвала Марютка пресекшимся голосом.

В тени были синие шарики поручика, только в белках влажно доцветал лиловатыми отсветами веселый жар мангала, когда, помолчав, он ответил:

— Да... здорово! Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Видио, что от души иаписано.— Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как будто икнув, спешно добавил: — Только не обижайся, ио стихи очень плохие. Необработаиные, неумелые.

Марютка грустно уронила листок иа колени. Молча смотрела в потолок юрты. Пожала плечами.

— Я ж и говорю, что чувствительные. Плачет у меия все нутро, когда обсказываю про это. А что иеобделанные — это везде сказывают, точь-в-точь как ты. «Ваши стихи необработанные, печатать иельзя». А как их обделать? Что в их за хитрость? Вот вы ентиллегент, может, знаете?— Марютка в волнении даже назвала поручика на вы.

Поручик помолчал.

— Трудно ответить. Стихи, видишь ли,— искусство. А всякое искусство ученья требует, у иего свои правила и законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его ие выстроит, или выстроит, но безобразный и негодиый в работе.

— Так то ж мост. Для его арихметику надо произойти, разные там анженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке заклaдены. Скажем, талант?

— Ну что ж? Талант и развивается учеиьем. Инженер потому и инжеиер, а ие доктор, что у иего с рождения склонность к строительству. А если он не будет учиться, ни черта из него ие выйдет.

— Да?.. Вон ты какая оказия, рыбья холера! Ну вот, воевать кончим, обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы?

— Должио быть, есть,— ответил задумчиво поручик.

— Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и горит душа, чтоб иатискали в книжке и подпись везде проставили: «Стих Марии Басовой».

Маигал погас. В темиоте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты.

— Слышь ты, кадет, — сказала вдруг Марютка, — болят, чай, руки-то?

— Не очень! Оиемели только!

— Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу.

— А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали? Я себе не враг.

— Нет, ты поклянись. Говори за мной. Клянусь бедным пролетариятом, который за свои права, перед красноармейкой Марией Басовой, что убечь не хочу.

Поручик повторил клятву.

Тугая петля чумбура расплелась, освободив затекшие кисти.

Поручик с наслаждением пошевелил пальцами.

— Ну, спи,— зевнула Марютка,— теперь, если убегнешь,— последний подлец будешь. Вот тебе кошма, накройся.

— Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария...

— Филатовна,— с достоинством дополнила Марютка и нырнула под кошму.

Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта.

В ауле нужно было отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться по берегу, в обход, на Аральский поселок, оттуда на Казалинск.

На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Так и лежит на берегу, а рыбаки, должно быть, потонули.

Комиссар отправился посмотреть.

Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его. Только разорвала парус и вырвала руль.

Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же, морем, в устье Сыр-Дарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом.

— Так-то лучше,— сказал комиссар.— Во-первых, значит, пленного скорей доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его обязательно до штаба доперéть нужно. А потом в штабе о нас узнают, навст-

речу конную помогу вышлют с обмундированием и еще чем.

При попутном ветре бот в три-четыре дня пересечет Арал, а на пятые сутки и Казалинск.

Евсюков написал донесение, зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане куртки.

Киргизки залатали парус кусками маты, комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок и снятой с бота банки.

В февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда.

Спустили на вольную воду, усадили отправляемых. Евсюков сказал Марютке:

— Будешь за старшего! На тебе весь ответ. За кадетом гляди. Если как упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай!

ГЛАВА ПЯТАЯ,

целиком украденная у Даниэля Дефо,
за исключением того, что Робинзону не приходится
долго ожидать Пятницу

Арал — море невеселое.

Плоские берега, по ним полынь, пески, горы перекатные.

Острова на Арале — блины, на сковородку вылитые, плоские до глянца, распласталис по воде — еле берег видать, и нет на них жизни никакой.

Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется.

Главный остров на Арале Барса-Кельмес.

Что оно значит — неизвестно, но говорят киргизы, что «человечья гибель».

Летом с Аральского поселка едут к острову рыбал-

ки. Богатый лов у Барса-Кельмеса, кипит вода от рыбьего хода.

Но как взревут пенными зайчиками осенние моряны, спасаются рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут.

Если до моряни всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями.

В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Чернышева до самого Барса, раздолье чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого усача или сазана до того, что, не сходя с места, дохнут.

И тогда, вернувшись весной, когда взломает ледяную корку Сыр-Дарья желтой глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осенью засола.

Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным — драгоценное зеркало.

Скучное море Арал.

Одна радость у Арала — синь-цвет необычайный.

Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается.

Во всех географиях это отмечено.

Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим то же говорили.

Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, Семянным и Вяхирем, на Казалинск морским путем.

Радостно вспучивал залатанный парус шелестящий волной ровный бриз. Сонливо скрипел в петлях руль, и закипала у борта густая масляная пена.

Развязала Марютка совсем поручиковы руки — некуда бежать человеку с лодки,— и сидел Говоруха-Отрок вперемежку с Семянным и Вяхирем на шкотах.

Сам себя в плен вез.

А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям

своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, не ведомым.

Этим беспокоил Марютку.

«И чего ему хихиньки все время? Хоть на сласть бы ехал, в свой дом. А то один конец — допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый!»

Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы.

Не вытерпела Марютка, заговорила:

— Ты где к воде приобык-то?

Ответил Говоруха-Отрок, подумав:

— В Петербурге... Яхта у меня своя была... Большая. По взморью ходил.

— Какая яхта?

— Судно такое... парусное.

— От-то ж! Да я яхту, чай, не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие да ладные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?

— «Нелли».

— Это что ж за имя такое?

— Сестру мою так звали. В честь ее и яхта.

— Такого и имени христианского нету.

— Елена... А Нелли по-английски.

Марютка замолчала, посмотрела на белое солнце, изливавшееся холодным блистающим медом. Оно сползало вниз, к бархатной синей воде.

Заговорила опять:

— Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленая, а тут, поди ж ты, до чего сине!

Поручик ответил как будто в себя и для себя:

— По шкале Фореля приближается к третьему номеру.

— Чего?— беспокойно повернулась Марютка.

— Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков морской воды. Самая синяя в Тихом океане. А здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру.

Марютка полузакрыла глаза, как будто хотела пред-

ставить себе таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы.

— Здорово, синя, приравнять даже трудно. Синя, как...— Она открыла глаза и внезапно остановила желтые кошачьи зрачки свои на ультрамариновых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто открыв необычайное, раскрыла изумленно губы. Прошептала:—Мать ты моя!.. Зенки-то у тебя—точь-в-точь как синь-вода! А я гляжу, что в их такое знаемое, рыбья холера!

Поручик молчал.

Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянуло ледяным холодком.

— С востоку тянет,— заворошился Семянный, кутаясь в обрывки шинели.

— Моряна бы не вдарила,— отозвался Вяхирь.

— Ни черта. Часа два пропрем еще — Барсу видать будя. Чо ветер,— там заночевам.

Смолкли. Бот начало подергивать на потемневших свинцовых гребнях.

По сизо-черному мохнатому небу протянулись узкие облачные полоски.

— Так и есть. Моряна прет.

— Должно, скоро Барсу откроем. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая Барса. Со всех боков песок, хоть ты лопни! Одни ветра воют... Трави, стерва, шкоты трави! Это тебе не помочи генеральские!

Поручик не успел вовремя вытравить шкот. Бот резнул воду бортом, и потоком пены хлестнуло по лицам.

— Да я тут при чем? Марья Филатовна на руле зевнула.

— Это я-то зевнула? Опомнись, рыбья холера! С пяти годов на рулю сидю!

Волны нагоняли сзади высокие, черные, похожие на драконьи хребты, хватали за борты шипящими челюстями.

— Эх-эх, мать!.. Скорей бы до Барсы добраться. Темно, не видать ничего.

Вяхирь вгляделся влево. Крикнул радостно, звонко:

— Есть. Вона она, сволочь!

Сквозь брызги и муть замаячила низкая белеющая полоса.

— Правь к берегу, — зыкнул Семянный, — дай бог дойти!

С треском поддало корму, протяжно застонали шпангоуты. Гребень обрушился на бот, налив по щиколки воды.

— Черпай воду! — визгнула, вскочив, Марютка.

— Черпай?.. Черпака черт ма!

— Хвуражками!

Семянный и Вяхирь сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду.

Поручик мгновение колебался. Снял свою меховую финку и бросился на помощь.

Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоским, припушенным снежком берегом. Он был еще белее от кипевшей там пены.

Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы.

Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его беременное брюхо, рванул.

Старая холстина лопнула с пушечным гулом.

Семянный и Вяхирь метнулись к мачте.

— Держи концы, — пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая грудью на румпель.

Вихрастая, шумная, ледяная, накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем.

Когда выпрямился, почти до бортов налитый водой, ни Семянного, ни Вяхиря у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус.

Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.

— Сатана!.. Чего смок? Черпай воду! — в первый раз за всю свою жизнь завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань.

Вскочил встрепанным щенком, забрызгал водой.

Марютка кричала в ночь, в свист, в ветер:

— Семя-я-анна-аа-ай!.. Вя-яя-яхи-инирь!

Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса.

— Утопли, окаянные!

Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддало сзади, и днище шурхнуло по песку.

— Стебай в воду! — кричала Марютка, выскакивая.

Поручик вывалился за ней.

— Тащи бот!

Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащили бот к берегу. Он тяжело врезался в песок. Марютка схватила винтовки.

— Забирай мешки с жратвой! Тащи!

Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого места, Марютка сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки.

Марютка крикнула еще раз в тьму:

— Семянна-ай!.. Вяхи-ирь!..

Безответно.

Она села на мешки и по-бабьи заплакала.

Поручик стоял сзади, часто и гулко лязгая челюстями.

Однако пожал плечами и сказал ветру:

— Черт!.. Совершенная сказка! Робинзон в сопровождении Пятницы!

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой завязывается второй разговор и выясняется вредное физиологическое действие морской воды при температуре +2 по Реомюру

Поручик тронул Марюткино плечо.

Несколько раз пытался говорить, но мешала щелкавшая ознобом челюсть.

Подпер ее кулаком и выговорил:

— Плачем не поможешь. Идти надо! Не сидеть же здесь! Замерзнем!

Марютка подняла голову. Сказала безнадежно:

— Куда пойдешь. На острову мы. Вода вкруг.

— Идти надо. Я знаю, тут сараи есть.

— Откудова ты знаешь? Был тут, что ли?

— Нет, никогда не был. А когда в гимназии учился, читал, что здесь рыбаки сараи строят для рыбы. Нужно найти сарай.

— Ну, найдем, а дале что?

— Утро вечера мудренее. Вставай, Пятница!

Марютка с испугом посмотрела на поручика.

— Никак, рехнулся?.. Господи, боже мой!.. Что ж я делать с тобой буду? Не пятница — среда сегодня.

— Ничего! Не обращай внимания. Об этом потом поговорим. Вставай!

Марютка послушно встала. Поручик нагнулся поднять винтовки, но девушка перехватила его руку.

— Стой! Не шали!.. Слово дал мне, что не убегнешь!

Поручик рванул руку и хрипло, дико захохотал.

— Видно, не я с ума сошел, а ты! Ты сообрази, голова, могу я сейчас думать о побеге? А винтовки хочу понести потому, что тебе тяжело будет.

Марютка притихла, но сказала мягко и серьезно:

— За помочь спасибо. А только приказ мне, чтоб тебя доставить... Не могу, значит, тебе оружия давать, как я в ответе!

Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед.

Песок, смешанный со снегом, хрустел под ногами. Тянулся без конца низкий, омерзительный своей ровностью берег.

Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом.

Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.

— Ничего, Марья Филатовна! Потерпи! Должно быть, это и есть сараи.

— Скорей бы, силы моей нет. Вся простыла.

Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, тошнотворно пахло рыбной сыростью и проржавелой солью.

Рукой поручик ощупал кучи сложенной рыбы.

— Ого! Рыба есть! По крайней мере голодать не будем.

— Огня бы!.. Оглядеться. Може, какой угол найдем от ветру? — простонала Марютка.

— Ну, электричества здесь не дождешься.

— Рыбу бы зажечь... Вона жирная.

Поручик опять захохотал.

— Рыбу зажечь?.. Ты, правда, помешалась.

— Зачем помешалась? — с обидой ответила Марютка. — У нас на Волге сколь ее жгли. Чище дров горит!

— Первый раз слышу... Да зажечь как?.. Трут у меня есть, а щепы на распалку...

— Эх ты, кавалер!.. Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. На, выворачивай пули, а я со стенки лучину подеру.

Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули окостеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щепками.

— Сыпь сюда порох!.. Кучкой... давай трут!

Трут затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула ее в порох. Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки.

— Готово, — обрадовалась Марютка, — бери рыбу... Сазана пожирней тащи.

На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, вспыхнула жирным жарким пламенем.

— Теперь только подкладай. Рыбы на полгода хватит!

Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных кучах сваленной рыбы. Деревянные стены были в дырках и щелях.

Марютка прошла по сараю. Крикнула откуда-то из угла:

— Есть цел угол! Подкладай рыбу, чтоб не загасла. Я тут с боков завалю. Чистую комнату устрою.

Поручик сел у костра. Ежился, отогреваясь. В углу шуршала и шлепалась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала:

— Готово! Тащи огня-то!

Поручик поднял за хвост горящего сазана. Прошел в угол. Марютка с трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось пространство в сажень.

— Залазь, разжигай. Я там в середке наложила рыбии. А я пока за припасом смотаюсь.

Поручик подложил сазана под клетку сложенной ры-

бы. Медленно, нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась, поставила в угол винтовки, сложила мешки.

— Эх, рыбья холера! Ребят жаль. Ни за что утопли.

— Хорошо бы платье просушить. А то простудимся.

— За чем дело стало? От рыбы огонь жаркий. Скидай, суши!

Поручик помялся.

— Вы просушивайте, Марья Филатовна. А я там подожду пока. А потом я посушусь.

Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо.

— Ах, дурень ты, я погляжу. Барское твое понятие. Чего страшного? Никогда голой бабы не видел?

— Да я не потому... а вам, может, неловко?

— Ерунда! Из одного мяса сделаны. Невесть какая разница! — Почти прикрикнула: — Раздевайся, идол. Ишь зубами стучишь, что пулемет. Му́ка мне с тобой чистая!

На составленных винтовках висело и дымилось над огнем платье.

Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно поворачиваясь к жару пламени.

Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, похудевшую спину поручика. Хмыкнула.

— До чего ж ты белый, рыбья холера! Не иначе, как в сливках тебя мыли!

Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые шарики.

Платье просохло. Марютка набросила на плечо кожушок.

— Поспать нужно. К завтрему, может, стихнет. Счастье — бот-то не потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до Сыр-Дарьи допремся. А там рыбалок встренем. Ты ложись-ка, я за огнем погляжу. А как сон сморит, тебя сбужу. Так и подежурим.

Поручик подложил под себя платье, укрылся полушубком. Тяжело заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него.

Пожала плечом.

«Навязался на мою голову! Болезный! Как бы не застудился! Дома небось в бархат-атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыбья холера!»

Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила поручика.

— Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу. Посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.

Поручик трудно поднялся. Охватил виски пальцами, глухо сказал:

— Голова болит.

— Ничего... Это с дыму да с устали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, усача поджарь да пошамай.

Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла.

Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку. Прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.

Марютка трясла поручиково плечо. Кричала с отчаянием:

— Вставай!.. Вставай, окаянный!.. Беда!

Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы.

— Вставай, говорю! Напасть такая! Бот волнами унесло! Пропадать нам теперь.

Поручик смотрел в лицо ей, молчал.

Вгляделась Марютка, тихо ахнула.

Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра.

— Застудился-таки, черт соломенный! Что ж я с тобой делать буду?

Поручик пошевелил губами.

Марютка нагнулась, расслышала:

— Михаил Иванович... Не ставьте единицу... Я не мог выучить... На завтра приготовлю...

— Чего мелешь-то? — дрогнув, спросила Марютка.

— Трезор... пиль... куропатка...—вдруг крикнул, подскочив, поручик.

Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками.

Поручик опять упал, заскреб пальцами по песку.

Быстро, быстро забормотал неразборчивое, давясь звуками.

Марютка безнадежно оглянулась.

Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетащила на него бесчувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком. Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам закапали у нее медленные мутные слезы.

Поручик метался, сбрасывая полушубок, но Марютка упорно поправляла каждый раз, закутывая его до подбородка.

Увидела, что завалилась голова, подложила мешки.

Сказала вверх, как будто небу, с надрывом:

— Помрет ведь... Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты горе!

Наклонилась над пылающим в жару, заглянула в помутневшие синие глаза.

Укололо острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, нежно прошептала:

— Дурень ты мой, синеглазенький!

Глава седьмая,

вначале чрезвычайно запутанная, но под конец проясняющаяся

Трубы серебряные, а на трубах висят колокольчики.

Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном:

Тили-динь, динь, динь.
Тили-тили, длям-длям-длям.

А трубы поют свое особенное:

Ту-ту-ту-ту, ту-ту-у-ту.

Несомненно, марш. Марш. Конечно, тот самый, что всегда на парадах.

И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же.

Капельмейстер оркестром управляет.

Стал к оркестру спиной, из разреза шинели хвост выдвинул, большой рыжий лисий хвост, а на кончике хвоста золотая шишечка наверчена, а в шишечку камертон вставлен.

Хвост во все стороны машет, камертон тон задает, указывает корнетам и тромбонам, когда вступать, а зазевается музыкант — тотчас камертон по лбу.

Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты.

Солдаты как солдаты, лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр.

Но ртов у музыкантов вовсе нет... Гладкое место под носом. А трубы у всех в левую ноздрю вставлены.

Правой ноздрей воздух забирают, левой в трубу вдувают, и от этого тон у труб особенный, звонкий и развеселый.

— К це-е-е-ериальному аршу и-отовсь!

— К це-риальному... на пле-е-чо!

— По-олк!

— Ба-тальон!

— Рота-ааа!

— Справа повзводно... Первый батальон шагом... арш!..

Трубы: ту-ту-ту. Колокольчики: динь-динь-динь.

Капитан Швецов лакирашами выплясывает. Зад у капитана тугой, гладкий, что окорок. Дрыг-дрыг.

— Молодцы, ребята!

— Драм-ам, ав-гав-гав!..

— Поручик!

— Поручик! Поручика к генералу!

— Какого поручика?

— Третьей роты. Говоруху-Отрока к генералу!

Генерал на лошади сидит, среди площади. Лицом красен, ус седой.

— Господин поручик, что за безобразие?

— Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!

— С ума сошли?.. Смеяться?.. Да я вас, да вы с кем?

— Хо-хо-хо!.. Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство!

Сидит генерал иа лошади. До пояса — генерал как геиерал, а с пояса иоги кошачьи. Хотя бы породистого кота — так нет. Самый дворняга, серые такие, лииялые коты, в полоску, по всем дворам на крышах шляются.

И когтями иоги в стремена уперлись.

— Я вас под суд, поручик! Неслыханиый случай! В гвардии, и вдруг у офицера пуп навыворот!

Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез, тоикой кишкой такой зелеиого цвета, и коичик, пуповина самая, в цеитробежном движеиии поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а ои вырывается.

— Арестовать его! Нарушеиие присяги!

Вынул геиерал из стремени лапу, когти распустил, тянется ухватить, а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз.

Обыкновенный глаз. Круглеиький, желтый зрачок, остренький такой и в самое сердце поручику заглядывает.

Подмигиул ласково и говорит, как — неизвестно, глаз сам говорит:

— Не бойся!.. Не бойся!.. Накоиец-то отошел!

Рука приподияла поручикову голову, и, открыв глаза, увидел он худеиькое лицо с рыжими прядями и глаз ласковый, желтый, тот самый.

— Напугал ты меия, жалостный. Неделю с тобой промучилась. Думала, ие выхожу. Одии-одинешеиьки иа острову. Лекарствия никакого, помочь иекому. Только кипятком и отходила. Рвало тебя спервоначалу все время... Вода-то паршивая, соленая, кишка ее ие принимает.

С трудом входили в поручиково сознание ласковые, тревожиые слова.

Он слегка приподиялся, осмотрелся непонимающими глазами.

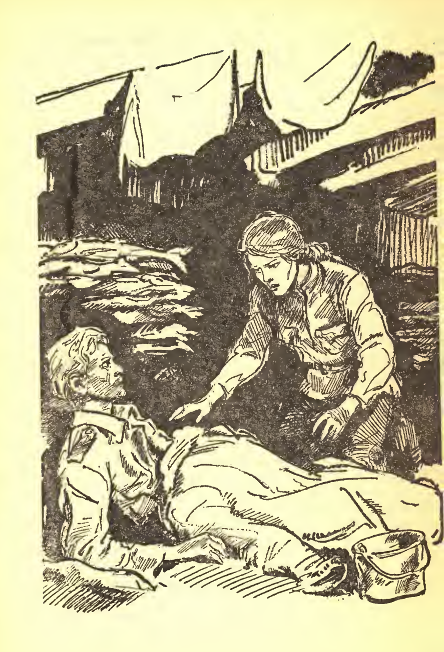
Кругом рыбные штабеля. Костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.

— Что такое?.. Где?..

— Ай забыл? Не узиал? Марюта я!

Тонкой прозрачиой рукой поручик потер лоб.

Вспомнил, бессильно улыбнулся, прошептал:
— Да... припомнил. Робинзон и Пятница!
— Ой, опять забредил? Далась тебе пятница. Не знаю, который и день. Совсем со счету сбилась.
Поручик опять улыбнулся.
— Да не день!.. Имя такое... Есть рассказ, как человек после крушения на остров попал необитаемый. И друг у него был. Пятницей звали. Не читала никогда? — Он опустился на кожушок и закашлялся.
— Не... Сказок много читала, а этой не знаю... Ты лежи, лежи тихонько, не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усача сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Вишь, прозрачный стал, как свечка. Лежи!
Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хрустальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальными колокольчиками, засмеялся тихонько.
— Ты што? — спросила Марютка.
— Так, вспомнил... Смешной сон видел, когда бредил.
— Кричал ты во сне чего! И командовал, и ругался... Чего только не было. Ветер свистит, кругом пустота, одна я с тобой на острову, а ты еще не в себе. Прямо страх брал, — она зябко поежилась,— и не знаю, что делать.
— Как же ты справлялась?
— Да вот, справилась. А пуще всего боялась — помрешь ты с голоду. Кроме ж воды, ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке скормила. А теперь одна рыба кругом. А какая же больному человеку жратва в соленой рыбе? Ну, как завидела, что ты заворочался и глаза открываешь, отлегло.
Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, пальцы на сгиб Марюткиной руки. Тихо погладил и сказал:
— Спасибо тебе, голубушка!
Марютка покраснела и отвела его руку.
— Не благодари!.. Не стоит спасиба. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или человек?



— Но ведь я кадет... Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле дышишь.

Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась. Махнула рукой и засмеялась.

— Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелила сразу, промахнулась, впервой отроду, ну, и возиться мне с тобой до скончания. На, покушай!

Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтарный кусок балыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо.

Поручик вытаскивал из котелка кусочки. Ел с аппетитом.

— Ужасно только соленая. Прямо в горле дерет.

— Ничего ты с ей не поделаешь. Была б вода пресная — можно вымочить, а то чистое несчастье. Рыба солена — вода солена! Попали в переплет, рыбья холера!

Поручик отодвинул котелок.

— Что? Больше не хочешь?

— Нет. Я наелся. Поешь сама.

— Ну ее к черту. Обрыдла она мне за неделю. Колом в глотке стоит.

Поручик лежал, опершись на локоть.

— Эх... Покурить бы! — сказал он с тоской.

— Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянного махра осталась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У курящего, опосля болезни, еще пуще на табак тяга. Вот, бери.

Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали.

— Ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!

— Небось без няньки жить не можешь? — сухо ответила Марютка и покраснела.

— Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал, а трубку я потерял.

— Бумаги... — Марютка задумалась.

Потом решительным движением отвернула полу ко-

жушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек.

Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги.

— Вот тебе на завертку.

Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом.

— Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!

— Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера!— крикнула Марютка.

Поручик посмотрел на нее.

— Спасибо! Я этого никогда не забуду!

Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль, сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.

Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:

— Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно.

— Не знаю,— ответил поручик,— с такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.

— Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза!

— Для кого?

— Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растревоживают!

— А тебя растревожили?

Марютка вспыхнула.

— Ишь черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю.

Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из-за рыбных штабелей, весело повернулась и сказала, как раньше:

— Дурень мой, синеглазенький!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой ничего не нужно объяснять

Мартовское солнце — на весну поворот.

Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.

Третий день как стал выходить поручик.

Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров облазила тем временем.

Возвратилась в последний день к закату радостная.

— Слышь! Завтра переберемся!

— Куда?

— Там, подале. Верст восемь отсюда будет.

— Что там такое?

— Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не биты. С печкой, посудины кой-какой, битой, черепки, — все сгодятся на хозяйство. А главно — полати есть. Не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойтить.

— Кто же знал?

— Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!

— А что?

— Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну, и осталось там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впопыхах. Теперь живем не тужим!

Утром перебирались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.

— Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! Я с виду тонкая, а здоровая.

К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

— Лафа... Царское житье!

— Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен... Без тебя не выжил бы.

— Известное дело, белоручка!

Помолчала, растирая руки над огнем.

— Тепло-тепло... А что ж мы дальше делать будем?

— Да что же делать? Ждать!

— Чего ждать?

— Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две — рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.

— Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера!

— Что у тебя присказка такая — рыбья холера? Откуда?

— Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это заместо чтоб ругаться. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.

Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:

— Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова... С Пятницей. Чем зря сидеть — расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше было. Наполевона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.

— Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.

— А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!

— Ладно. Постараюсь.

Поручик полузакрыл глаза, вспоминая.

Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.

— Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.

Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.

— Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.

Поручик оперся на локти. Начал:

— В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо...

— А где этот город-то?

— В Англии... Жил богатый человек Робинзон Крузо...

— Погоди!.. Богатый, говоришь? И почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.

— Не знаю,— недоуменно ответил поручик,— мне это и в голову никогда не приходило.

— Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня для его нет. А я бы об бедном человеке написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.

— Да... Так вот задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле...

Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.

Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробностями.

Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа.

Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила:

— Что ж, значит, все, кроме его, потопли?

— Да, все.

— Должно, дурья голова капитан у них был или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое большое — два-три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.

— Почему? Утонули же у нас Семяиный и Вяхирь. Значит, ты плохой капитан или нализалась перед крушением?

Марютка оторопела.

— Ишь поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!

В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:

— Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты — Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру видела. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы — во! Морда страшенная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь, свиного уха!» Серчал здорово. Каменюгами бросался.

При рассказе о нападении пиратов Марютка сверкнула глазами на поручика:

— Десятеро на одного? Шпана, рыбья холера!

Поручик кончил.

Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Промурлыкала дремотно:

— Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай.

— А что? Разве нравится?

— Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.

Поручик зевнул.

— Спать хочешь?

— Нет... Ослабел я после болезни.

— Ах ты слабенький!

Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики.

От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием

Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.

А стал первым на счету девичьей радости.

Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.

От нее, от сини, светлела жизнь.

Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже круглыми язвочками десны, изредка выходила на берег высматривать, не закрылится ли косым летом ожидаемый парус.

Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалась в свой угол на нарах, жалась, ластясь, к поручикову плечу. Слушала.

Много рассказывал поручик. Умел рассказывать.

Дни уплывали медленные, маслянистые, как волны.

Однажды, занежась на пороге хибарки, под солнцем, смотря на Марюткины пальцы, с привычной быстротой обдиравшие чешую с толстенького сазана, сказал поручик, зажмурясь и пожав плечами:

— Хм... Какая ерунда, черт побери!..

— О чем ты, милок?

— Ерунда, говорю... Жизнь вся — сплошная ерунда. Первичные понятия, внушенные идеи. Вздор! Условные значки, как на топографической карте. Гвардии поручик?.. К черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот и думаю: если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.

— Как ты сказал, какие дни-то?

— Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным все-

му мнру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частнцей, а совершеиио растворяешься в этой вот,— ои широко обвел рукой,— земной массе. Чувствую сейчас, что слнлся с ией нераздельно. Ее дыхание — мое дыхаине. Вот прнбой дышит: шурф... шурф... Это ие он дышит, это я дышу, душа моя, плоть.

Марютка отложила нож.

— Ты вот говоришь по-учеиому, не все слова мие внятны. А я по-простому скажу — счастлнвая я сейчас.

— Разными словами, а выходит одио и то же. И сейчас мне кажется: хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь иавсегда, плавиться под мохиатым солнцем, жнть зверюгой радостиой.

Марютка сосредоточенио смотрела в песок, будто припомииая что-то нужное. Виновато, нежно засмеялась.

— Нет... Ну его!.. Я здесь ие осталась бы. Леинво больно, разомлеть под конец можио. Счастья своего и то показать некому. Одна рыба дохлая вокруг. Скорей бы рыбалкн на лову сбнрались. Подн, конец марта на носу. Стосковалась я по жнвым людям.

— А мы разве ие живые?

— Жнвые-то жнвые, а как муки иа неделю осталась самая гинль, да цнига заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьмн в толк, мнленький, что время ие такое, чтобы на печке сидеть. Там иаши, поди, бьются, кровь проливают. Каждая рука иа счету. Не могу я в таком случае в покое прохлаждаться. Не затем армейскую клятву давала.

Поручнковы глаза всколыхнулнсь нзумленио.

— Ты что же? Опять в солдаты хочешь?

— А как же?

Поручик молча повертел в руках сухую щепочку, отдраниую от порога. Пролнл слова леннвым густым ручейком:

— Чудачка! Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровнщи и злобнщн. Не с пелеиок же я солдатом стал. Была когда-то н у меня человеческая, хорошая жизнь. До

германской войны был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?

— М-гм,— ответила Марютка, насторожившись.

— Ну, и в один роковой день это лопнуло, разлетелось, помчалось в тартарары... Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче, на террасе, и читал, книгу даже помню. Был грузный закат, багровый, заливал все кровяным блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам взволнован. Сказал одно только слово, но в этом слове была ртутная, мертвая тяжесть... Война. Ужасное было слово, кровяное, как закат. И отец прибавил: «Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову родины. Надеюсь, ты?..» Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда...

— Чудило! — кинула Марютка, пожав плечами.— Что же, к примеру, если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться? Что-то непонятно мне такое дело.

Поручик вздохнул.

— Да... Вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода. Долг... Мы этим дорожили.

— Ну?.. Так я своего батьку, покойника, тоже люблю крепко, а коли ж он пропойца дурной был, то я за его пятками тюпать не обязана. Послал бы прадедушку к прабабушке!

Поручик криво и зло усмехнулся.

— Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту... А она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на

вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать.

— Так-с!.. Значит, земля напополам трескается, люди правду ищут, в кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

— Не знаю... И знать не хочу, — крикнул исступленно поручик, вскакивая на ноги. — Знаю одно — живем мы на закате земли. Верно ты сказала: «Напополам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспложенная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Довольно! Я из этого дела выпал! Больше не желаю пачкаться!

— Чистотел? Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерьме покопаются?

— Да! Пусть! Пусть, черт возьми! Другие — кому это нравится. Слушай, Маша! Как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды—

покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что неученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, а это незабвенно.

Марютка резко встала. Процедила, как ком колючек бросила:

— Значит, мне так твои слова понимать, чтобы завалиться на пуховике, пока люди за свою правду надрываются, да конфеты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана? Так, что ли?

— Зачем же так грубо? — тоскливо сказал поручик.

— Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной? Нет, погоди! Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как пóтом соленым да слезами людскими пропитана?

— Не знаю, — вяло отозвался поручик. — Странно мне только, что ты девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать с пьяными, вшивыми ордами.

Марютка уперлась ладонями в бедра. Выбросила:

— У них, может, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая! Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица паршивая! «Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько», — передразнила она. — Другие горбом землю под новь распахивают, а ты? Ах, и сукин же сын!

Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы.

— Не смей ругаться!.. Не забывайся ты... хамка!

Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой, небритой щеке.

Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Выплюнул отрывисто:

— Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу...Дрянь!

И скрылся в хибарке.

Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и сказала неведомо кому:

— Ишь до чего нравный барин! Ах ты, рыбья холера!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот погибающей планеты, а автор слагает с себя ответственность за развязку

Три дня после ссоры не разговарнвалн поручик н Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катнлась она дружным, жаропышущнм натиском. Уже давно под ударамн золотых копыт лопнула тонкая снежная броня на острове. Стал он мягким, ярко-желтым, канареечным на темном стекле густой воды.

Песок в полдень обжнгал ладонн, и больно было до пего дотронуться.

В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талымн ветрамн солнце.

От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цннгн оба совсем ослабелн. Не до ссор было.

По целым дням валялнсь на берегу в песке, неотрывно смотрелн на густое стекло, нскалн воспаленными глазамн паруса.

— Нет больше моего терпения! Ежели через трн дня рыбалок не будет, ей-пра, пулю себе пущу! — простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в равнодушную тяжелую синь.

Поручнк засвнстел легонько.

— Меня слнзняком и мокрицей называла, а сама сдаешь? Терпн — атаманом будешь! Тебе же одна дорога — в атаманы разбойннчьи.

— А ты чего старое поминаешь? Ну н заноза! Было н сплыло. Ругала потому, что стоило ругать. Распалилось сердце, что тряпка ты мокрая, цыпленок. А мне н обидно! Навязался же ты на мою голову, смутнл, все нутро вытянул, черт сннеглазый.

Поручнк с хохотком опрокннулся спнной в горячнй песок, задрыгал ногами.

— Ты чего? Сдурел? — заворошнлась Марютка.

Поручик хохотал.

— Эй, чумелый! Да говорн же!

Но поручик не уннмался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок.

Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах.

— Ну, чего ржешь?

— Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. Мертвец с тобой плясать пойдет!

— А то? По-твоему, лучше вихляться, как бревну в полынье, ни к тому бережку, ни к другому? Чтоб самому мутно было и другим тошно?

Поручик снова взвизгнул смехом. Похлопал Марютку по плечу.

— Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!

— Что? Неужели в самом деле поумнел?

— Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо — научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...

Он оборвал, захлебнувшись.

Ультрамариновые шарики уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем.

Вытянул руки и сказал тихо, дрогнувшим голосом:

— Парус.

Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела.

Далеко-далеко, на индиговой черточке горизонта, вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка — треплемый ветром парус.

Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному.

Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.

Плясал, высоко взбрасывая тонкие ноги в изорванных штанах, и пел пронзительно:

Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-ки-кий
В ту-ма-не моря го-лу-бом-бом-бом...
Бим-бам. Бом-бом,
Голу-бом!

— Ну тебя, дурной! — вырвалась запыхавшаяся, радостная Марютка.

— Машенька! Дурища моя дорогая, царица амазонская. Спасены ведь! Спасены!

— Черт, шалый! Небось сам теперь захотел с острова в жизнь людскую?

— Захотел, захотел! Я же тебе говорил, что захотел!

— Постой!.. Подать им знак надо! Позвать!

— Чего звать? Сами подъедут.

— А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили: тут островов гибель. Могут мимо пройти. Тащи винтовку из хибары!

Поручик бросился в хибару. Выбежал, высоко взбрасывая винтовку.

— Не дури! — крикнула Марютка. — Жарь три штуки подряд.

Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклянную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, до чего ослабел.

Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, он несся по воде крылом веселой птицы.

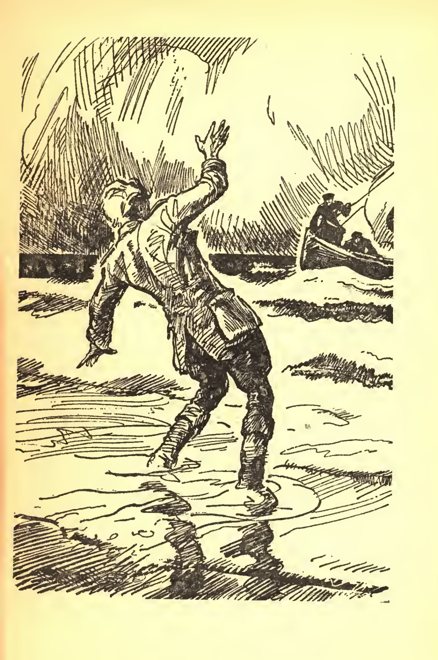
— Черт-и-што, — проворчала, вглядываясь, Марютка. — Что оно за суденышко такое? На рыбалку не похоже, здоровое больно.

На судне услыхали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую сторону и, накренясь, понесся линией к берегу. Под розово-желтым крылом выплыл из сини черный низкий корпус.

— Не иначе, должно быть, объездчика промыслового бот. Только кто ж на нем мотается в такую пору, не пойму? — бормотала тихонько Марютка.

Саженях в пятидесяти бот снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки рупором, закричала.

Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил с маху



в песок винтовку и в два прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, ополоумело закричал:

— Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!

Марютка воткнула зрачки в бот и увидела... На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски.

Метнулась всполошенной наседкой, задергалась.

Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок. Лед... Синь-вода... Лицо Евсюкова. Слова: «На белых нарветесь ненароком, живым не сдавай».

Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку.

Закричала отчаянным криком:

— Эй, ты... кадет поганый! Назад!.. Говорю тебе — назад, черт!

Поручик махнул руками, стоя по щиколки в воде.

Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой.

Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа.

Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку.

В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно.

Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем:

— Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синеглазенький!

С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди.

Ленинград, ноябрь, 1924 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Борис Лавренев — один из известнейших советских писателей старшего поколения. «Старшее поколение» — в данном случае понятие не столько возрастное, сколько хронологическое. Когда мы говорим «старшее поколение» советских писателей, мы имеем в виду и уже немолодого к началу революции друга М. Горького А. Серафимовича, и уже прославленного тогда поэта В. Маяковского, и совсем юных в 20-е годы прозаиков А. Фадеева, М. Шолохова, Л. Леонова. «Старшее поколение»— это те художники слова, которые создали после Октября 1917 года своими произведениями само понятие «советская литература» как новое явление в искусстве и придали этой литературе ее главное изначальное направление. Новаторские качества новой литературы меньше всего шли от узкопрофессиональных задач и поисков (хотя их было немало), в первую очередь эти качества были вызваны к жизни требованиями самой жизни — небывалой, сдвинутой с привычных устоев, еще непонятной, ждущей своего воплощения и истолкования.

Большинство советских писателей старшего поколения, в том числе и Борис Лавренев, — непосредственные участники драматических событий революции и гражданской войны. И когда гражданская война окончилась победой Советской власти, эти художники-воины были охвачены желанием в первую очередь донести до мира трагическую правду народной судьбы, а затем утвердить в сознании людей красоту подвига народа, вынесшего невыносимое за эти годы во имя идеала полной и окон-

чательной социальной справедливости. Реальнейшая и жестокая правда жизни во всех ее противоречиях и романтическое отношение к этой жизни, любование ее необычностью, ее устремленностью к самым высоким и бескорыстным целям — таково общее направление советской литературы 20-х годов, когда пришла известность к Борису Лавреневу. Дальше за пределами этой общей устремленности, этого романтического принятия революции как выстраданного веками торжества высшей справедливости, начинаются индивидуальные различия: у каждого писателя своя судьба, свое лицо.

Борис Лавренев родился в 1891 году в «уютном, ласковом», зеленом, по определениям самого писателя, Херсоне. Близость Черного моря, старинные крепостные укрепления, излучающие поэзию исторических воспоминаний, широта степного простора вокруг, голубизна южного неба над головой — эти впечатления детства во многом определят темы, место действия, краски, самый стиль будущих произведений писателя, их жизнелюбивый пафос, их праздничную приподнятость, их яркую живописность. Ослепительный южный колорит в книгах Бориса Лавренева будет успешно соперничать только с царственной торжественностью сумрачного Ленинграда, где также часто проходит действие его книг. Но и в Ленинграде близко море, которое навсегда останется романтической страстью писателя. Море и опасное приключение, море и героический поступок — это постоянно будет соседствовать в его книгах. А началось с того, что, получив двойку по алгебре в 5-м классе гимназии, мальчик бежал в Александрию и два месяца плавал юнгой на заграничном пароходе, пока не был снят с палубы в Бриндизи и не возвращен силой домой.

Бегство из дома не означало конфликта с семьей, оно было только результатом постоянной тяги к романтике и проявлением действенности натуры. Дома было хорошо, и Борис Лавренев навсегда сохранил добрую память о своей интеллигентной, трудовой семье. Отец писателя — учитель, директор сиротского дома. «Был он талантливым, умным, честным русским человеком, хорошо играл на скрипке, много знал, но в жизни не очень преус-

пел из-за чрезмерной скромности»,— вспоминал впоследствии Борис Лавренев. Атмосфера требовательности и гуманности в родном доме, воспитанное с детства уважение ко всякому труду, поощряемая родными страстная тяга к чтению, юное увлечение театром и искусством — все это было благодатной почвой для раннего развития литературных наклонностей будущего писателя.

После окончания гимназии Борис Лавренев учился на юридическом факультете Московского университета, который закончил в 1915 году. Но уже в 1911 году он стал публиковать свои стихи. «Поэтическое вдохновение хлынуло из меня неудержимым потоком в первый год студенчества», — вспоминал много лет спустя писатель. Однако как поэт Борис Лавренев не прославился, на этой ниве он был одним из многих. Правда, увлечение поэзией оставило свой след, проявившись в склонности к ярким метафорам в его ранней прозе. Впрочем, и эта особенность была общей чертой литературы первых лет революции, стилистическим выражением ее романтической окрыленности.

Первое прозаическое произведение было написано Борисом Лавреневым во время первой мировой войны, в которой он участвовал в качестве артиллерийского офицера. Он называл свой военный опыт «высшей жизненной академией» и самым полезным для себя уроком этой первой на его пути войны считал соприкосновение с русским солдатом, с «простым русским человеком, мучеником и страстотерпцем удушливого и неправедного строя царской России». Демократические симпатии, антимилитаристские и антибуржуазные настроения молодого офицера определили его дальнейшую судьбу — сначала активного участника гражданской войны на стороне Красной Армии, затем советского писателя, воспевшего в образах своих книг революционный подвиг народа.

Тема революции пройдет через творчество Бориса Лавренева как главная вплоть до самой второй мировой войны, когда история выдвинет новые проблемы столь же грандиозного масштаба и Лавренев обратится к иным темам. В конце же 20-х годов по многим сценам страны

с успехом пройдет пьеса Лавренева «Разлом», написанная им к десятилетию революции. Для этой пьесы осиованием послужили исторические события каиуна того дия, когда была провозглашеиа Советская власть, когда легендариый крейсер «Аврора» иаправил дула своих орудий прямо на царский дворец, встав перед ним как иеотвратимость новой судьбы России.

Но еще раиьше, чем Борис Лавреиев прославится в качестве драматурга, к нему придет широкая известность как к автору многочисленных новелл и повестей. Середииа 20-х годов была особенно урожайиа для творчества этого плодовитого писателя, активио действовавшего в литературе почти полвека. Тогда Лавреневым были написаны такие известные произведеиия, как «Ветер», «Сорок первый», «Срочиый фрахт», «Рассказ о простой вещи», «Седьмой спутиик», «Гравюра иа дереве» и др.

На потребности времени Б. Лавренев откликался произведениями очеиь разиыми и по жанрам, и по темам, и по стилю. Но одио непременное качество равио присуще всем им: увлекательность сюжета. Лавренев считал ее непремениой чертой художественного произведения, каким бы серьезным и глубоким ии был его замысел. Недаром Лавренев вел свою родословную от «несравненного Стивенсоиа».

Любовь Лавренева к острому, захватывающему сюжету — прямое проявление другой важнейшей черты его таланта: его постояиной увлеченности героическим поступком, его преклонением перед человеческим мужеством. Он искал и находил его повсюду и во все времена. Он писал о подвигах революционных матросов в гражданской войне и о покорении Арктики ее первыми исследователями, он изучал и воплощал в сюжеты историю морских битв первой мировой войны, и ои же воспел мужество моряков Великой Отечествеиной войны, его привлекали образы бойцов революциоииой Испаиии и яркие страницы столкиовения Красиой Армии с басмачами...

Ратуя за остросюжетиую действеииую литературу, Лавреиев в боевой запальчивости иногда высказывался

против «психологизма» русской литературы. Однако сам он отдал дань и тонкому анализу чувств и внутренних настроений человека, показав и здесь себя незаурядным мастером. Ведь каждая повествовательная манера диктуется писателю выбранным им из потока жизни предметом изображения. И, обратившись в конце 20-х годов к рассказу о судьбах старых интеллигентов, вовлеченных в революционные события, к столь сложной проблеме, как «революция и искусство», Лавренев не обошел вовсе стороною опыта Толстого и Достоевского. Многогранно было дарование этого писателя.

Но ярче всего эта многогранность выразилась в повести «Сорок первый». Увлекательный рассказчик и яркий живописец, правдивый психолог и вдохновенный певец героического поступка соединились здесь самым чудесным и гармоническим образом.

«Сорок первый» — романтическая баллада с героями сильными и цельными, с сюжетом необычным и трагическим, прекрасная баллада, написанная яркими и чистыми красками. Она — олицетворение ясной молодости советской литературы.

Простая рыбачка Марютка и интеллигентный офицер — ее враг, пленник и возлюбленный — одинаково молоды и полны жизни, но один из них выражает устремление революционного народа к новым человеческим отношениям, чуждым корысти и эгоизма, а другой удовлетворяется узким понятием о личном счастье. Каждый из них готов до последней капли крови с оружием в руках защищать свою позицию. Оказавшись волею стихий один на один на необитаемом острове, любовники-враги оказываются в положении невольного соревнования в своей человеческой ценности. Парадокс этой ситуации состоит в том, что грубая, полуграмотная девушка не только более приспособлена к суровым испытаниям времени, более великодушна и щедра в своих чувствах, но и проявляет духовное превосходство в бескорыстии и последовательности своих идеалов: она не согласна на эгоистическое счастье, она презирает благополучие избранников, отстраненных от общенародных бед.

Писатель не унизил героиню «Сорок первого» искусственной идеализацией. Она хороша для него такая, какой сделала ее жестокая жизнь, — с этим счетом убитых ее руками белых офицеров, с детской наивностью, с ее неграмотными стихами и душевной прямотой. При этом Лавренев не превращает забавное невежество своей героини в утверждение вообще права народа на невежество. Напротив, его трогает и воодушевляет надеждой стихийная тяга простого человека, творящего революцию, к знанию, культуре, красоте.

Рассказ кончается трагически. Вероятно, в жестокой революционной борьбе двух враждебных мироощущений погибают оба героя — молодые, прекрасные, созданные природой для любви и счастья. Их судьба — тяжелая и неизбежная плата за утверждение новых нравственных идеалов, сменяющих прежние, исторически не оправдавшие себя.

Драма любви и ненависти, драма смерти и жажды жизни во всей ее полноте предстает в «Сорок первом» на фоне пронзительной синевы Аральского моря и рыжих песков пустыни Кара-Кум. В этих экзотических красках нашли живописное выражение подлинные впечатления Бориса Лавренева от его пребывания в 1920—1923 годах во время службы в Красной Армии в Средней Азии. Недаром Лавренев был в молодости и художником. Живописная конкретность в «Сорок первом» соединилась с большой обобщенностью чувств и мыслей.

Борис Лавренев умер в 1959 году и до последних лет активно работал в литературе, особенно плодотворно как драматург. Его перу принадлежат такие известные в свое время пьесы, как «За тех, кто в море», «Голос Америки». Писатель нам оставил много книг: большие романы, увлекательные повести, популярные пьесы. Но повесть 1924 года «Сорок первый» — подлинный шедевр Бориса Лавренева и всей молодой революционной русской прозы.

Е. Старикова

10 коп.

Для средней школы

Борис Андреевич Лавренев

Сорок первый

Повесть

ИБ № 7833

Ответствекквый редактор *В. М. Писаревская*
Художествеккый редактор *И. Г. Найденова*
Техкический редактор *Н. Ю. Кропоткина*
Корректор *Е. И. Щербакова*

Сдако в кабор 30.04.83. Подпксако к печатк 22.09.83. Формат 84x108 1/32 Бум. ткпограф. № 2. Шркфт лктературкый. Печать выс. рот. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 3,78. Уч.-кзд. л. 3,18. Ткраж 1 000 000 экз. Заказ № 1163. Цека 10 коп.

Ордека Трудового Краского Зкамекк кздательство «Детская лктература» Государствеккого комитета РСФСР по делам кздательств, полкграфкк к кккжиой торговлк. 103720, Москва, Цектр, М. Черкассккй пер., 1.

Полкграфическое предпркятке «Совремекккк» Росполкграфпрома Государствеккого комктета РСФСР по делам кздательств, полкграфкк к кккжкой торговли. 445043, г. Тольяттк, Южкое шоссе, 30.